

# Пути–тропинки

Мне, наверное, не надо было писать критическую статью о большом русском писателе Николае Тропникове, но это уже свершившийся факт, статья «добита и обмыта». А о ком я еще должен был написать, если всё свое детство — до 12 лет — провел в тех таежных краях, где родился Николай, в том же лесном и картофельно-крапивном Вилегодском районе Архангельской области. Хочешь не хочешь, а написать, выполнить пусть не заказ, а долг (звучит еще высокопарнее) я был обязан. А что значит, «высокопарнее»? Это наверное, забраться туда, где выше пар, на полку и там хлестаться вениками-языками. Но разве мы врем, хлещемся, называя Тропникова прекрасным прозаиком? Вы только посмотрите, как он описывает округу, выходя в зимние снежные потемки из бани или из дома: «Оглушала тишина, никого не было, ничего не двигалось, но всё как будто копошилось. На задворье деревни в снегах, излучавших мутный свет, не допуская тьму до самой земли, блуждали пятнами стога сена и клочки кустов... От могущества и таинства ночи было радостно и страшновато, и чтобы подтвердить свое существование, захотелось пошевелиться. Скрип снега под валенками вернул уверенность и ощущение себя. В темном пухе ночи лишь дома смотрелись отчетливей, тверже. Через один, два в них светились окна. Поток света, не подпуская тьму, будто стоял с лопатой и отгребал ее от стен, как снег от крыльца...».

Я и сам помню эти зимние вечера и морозные за вечерья под низким-низким северным русским небом. Хватай с него хоть звезду Героя СССР, хоть звезду Литератора, например. А «глотануть» звездочку, заболеть звездной болезнью для честолюбивого молодого писателя из еловой глубинки — явление распространенное, хотя само название поселка, из которого Николай по тропке-дорожке уходил в большую жизнь, — Нарчуг как бы содержало в себе предупреждающее «чур», мол, не очень-то выставляйся, задавайся... большими целями.

Я и самолично бывал в поселке Нарчуг, от названия которого образовалась фамилия главного героя тропниковских исповедальных повествований – Нарчужанинов, а моя тетя Елена Дмитриевна учила его в нарчуг.нач.школе, в которой ученики (слава ленинской Партии) сидели за партами, а не на нарах.

Помимо знания пусть не буквального тех лесоповальных и многострадальных мест, я еще, но это уже в городе Волхове, занимался любительским хроникальным кино, был киношником, то есть нашивал банки с фильмами, показывал их, а позднее работал в местной газете. Так вот тот опыт, наверное, оказал плохую услугу при моем довольно

тщательном и трепетном прочтении и осмыслении книг Н. Тропникова, в том числе, и сборника «Последний набег». Читаешь, все вроде хорошо, правдиво и волнительно, высокий класс, прекрасные описания природы, простонародного быта — всё нормалёк, хоть ставь поздравительный бутылёк, всё как учили великие, Лев Толстой обзавидуется, — но почему-то возникало ощущение, что от вроде бы образцовых текстов все же отдает документальщиной и газетщиной. Может быть, потому что Николай писал не о луговой деревне, а о елово-лозунговом поселке, а между ними имеется некоторая картинная, в виде бараков, и даже статусная разница, уводящая в отраслево-промышленную сухость, режимную зажатость. И у меня ведь от житья в лесопункте или в леспромхозе просматривается в поведении и в творчестве такой тревожно-предупредительный «пунтик», некая сигнальная, нигде вроде не помеченная «черточка» дерзости и неблагонадежности.

Но почему все же, как из табакерки или из черного почтового ящика, плоского, как история советского северо-западного края, выскочило такое непочтенное определение как «газетщина»? Может, из-за того, что в рассказах Тропникова преобладает материал районного масштаба, а некоторые красивые описания да и небольшие произведения полностью просились в специально отведенные в малотиражках соцпериода рубрики «Заметки фенолога», «Охотничьи и рыбачьи истории», «Смешинки»?.

«Районка» — это самое читаемое народное издание, она позволяет почувствовать себя молодому прозаику «первым парнем на деревне», а писать в нее и печататься в ней — это быть ближе к народу, быть в каждой избе, быть... в каждом сортире, нужнике, потому что именно туда чаще всего несут газеты после их прочтения. Такая провинциальная участь не только «районки», но и «Правды» и современного «Коммерсанта», новейшей брендово-бредовой «Комсомолки».

Но раскроешь в действительности «районку» — нет в ней никакого Николая Тропникова. Повторяю в «районке» его нет, но в книгах Николая Тропникова эта «районка» присутствует пусть не в значительном, но в осязаемом виде. Потому что куда ему без «малой родины», без ее проблем, без новостей поселка, без его елок-палок, песка, дресвы. Это вам не травушка-муравушка... Но если нет Николая в «районке», в районе, то где он? Где наш дорогой Коля? И тут выясняется, что он, этот Николай Иванович Тропников, — человек-тайна, человек-мираж, человек-фантом. Многие его рассказы — это мистические послы, флюиды. Вспоминаются слова Рубцова «Я слишком призраки люблю». Именно таким призраком видится мне и, наверное, многим читателям автор в рассказах «Утро», «Уход от костра», «Дым», «Ночные деревья» да и во всех произведениях, где он

выступает под псевдонимом Н. Как стал призраком его родной таежный поселок Нарчуг, так превратился в призрак и его великий, самый «кровный» и дорогой житель Нарчужанинов.

По ходу прочтения книги возникает впечатление, что повествователь перевоплощается — при полном исчезновении плоти -то в дождь, то в дым, то в снег, то в туман. Да и вокруг него все пребывает в призрачном, хотя и в реальном земном виде.

В надрывно-мистическом рассказе «Дым» герой, то есть сам Тропников, пересекая территорию старого монастыря, замечает струйку дыма, исходящую из «глубины кладбища», запах которой напоминает ему запах детства! (плывущий с огородов, где сжигали ботву) и, глядя на которую, можно представить медлительный полет души в бескрайнее небо из узкой, задавленной песком могилы, из брэнного, стиснутого гробовыми досками тела. По этой извивающейся струйке дыма, как по ленте телетайпа, можно прочитать — снизу доверху — жизнь человека, а может, и целого поколения от рождения до смерти. Дальше больше. Философу и правдоискателю мало одного поколения, поскольку привык думать шире, глобальнее. При помощи умелых словесных манипуляций, буквально штришков дает читателю возможность увидеть всю историю развития, генезиса человечества. Он сам как бы превращается в призрак тысячелетий, в струйку дыма, вьется вокруг высокого тополя, витийствует, пробует разговаривать с ним, вековым. И если Николай стал на малый срок дымом, то вдруг мистическим, но и не таким уж странным образом материализовался его отец. Николай пишет: «Я опустил глаза вниз, к его основанию (тополя), надеясь по голосу питающих его соков угадать ответ. И опять ничего не расслышал и коснулся ладонью коры. Она была шершава и напоминала руку отца...». Но кора к тому же похожа на руку-лапу древнего ящера, на десницу прашуру. Эвон, на какую глубину, прямо-таки к истокам зарождения рода человеческого копнул на кладбище писатель-мистик. Получилась, как в язычестве, в котором нет смерти, материализация отца, прашуров и всего рода человеческого. А это позитив, изощренный метафоризм и мощная философия примитивистскоо-провинциальной меты.

Философу и положено быть странником и поисковииком. Но наш прозаик никак не может или не хочет выйти на дорогу или на тропу любви (звучит угрожающе, как на тропу войны). Вроде во время написания «нарчугских рассказов» был молодым — писатель, комсомолец, красавец, (да еще дипломы об окончании физкультурного и философского факультетов), а о любви ничего. Сыновьи горячие чувства к отцу и матери «не в счет». Нет бы закрутил северный отпускной роман хоть с молодой, хоть с возрастной

женщиной, а потом бы описал в рассказах. Надо было устроить не просто творческую, а любовно-творческую командировку, чтобы не однобоко отчитаться о поездке. А то я в его отчете не увидел ничего безотчетного, безумного, в них все по уму, по кодексу, ну как в «районке», и ни об одной горячей бабенке. Если даже ничего и не было сального, кроме как кормления в стайке жирного поросенка, надо было придумать, присочинить. Фантазии не хватило, хотя все так делают, чтобы удерживать читателя. Отсюда и сухость рассказов, за которую получал и огребают до сих пор грубые каменные баранки. Нет бы красно-мармеладовые баранки сахаристых женских губ... Ну, показал, что родителей любит, песика, хрюню... Но даже писательские признания в любви к Родине не залог читательской востребованности. А без бабы в отпуске или после баньки, это как свадьба без водки, то есть *насухую*. Простой народ такого не понимает. Хотя в рассказах — архангельская тридцатиградусная бело-инистая зима, но читателю подавай краснобокую клубнику.

Здесь у меня появилась редкая возможность столкнуть лбами двух Николаев-писателей, Тропникова и Коняева. Ведь чем хорош Коняев, — у него везде любовь, и не обязательно духовная, он и о чувственной не забывает, взять хотя бы его рассказы «Праздник парохода», «Такой ветер», «Любка — сахарные губки»... Но что их сопоставлять, просто поиграю фамилиями, и получится — конь на тропе или тропа не коне... хотя труп не коне, тоже не очень.

Судя по всему Николая Тропникова в молодые писательские годы сталкивали лбами — аж звезды обиды из глаз — со многими прозаиками при выяснении вопросов о методах творчества. Крутые, верно, были учителя, взять Евг. Кутузова, который учил почаще устраивать Бородино не только против отвязно-фривольной французской литературы, но и против советско-русской, грешившей казенщиной и (как ее?) социалистической партийностью. Наверное, после таких советов «в Филях» на улице Войнова Николай офицерским шагом — ать, два — возвращался в свои рассказы и незамедлительно начинал там вести боевые действия против хваленных и в тоже время хаянных-перехаянных публицистики и документальщины. Вводил туда войска, писательскую военную технику, например, авторучки-ракеты, и старательно громил Армии под названием Злободневность, Сиюминутность и др. Затем в рассказы посылались многочисленные похоронные команды, выкапывались гигантские ямы. Военные оркестры громко и надсадно играли единый траурный марш, раздавался трехкратный прощальный залп из всех калибров, от револьверного до ракетного. Потом могильщики уезжали, но «ныльщики» оставались. Да еще задерживался я со своим стихотворением «Дороги в бессмертие»:

Сергея пробирался к раю  
В футболке  
с номерочком 7...  
Когда дороги умирают,  
То их закапывают в землю?

Вблизи ли, параллельно мертвой  
Ковшами выкопают ров.  
Столкнут.  
Лежать ей книзу мордой  
Под жуткий бульдозерный рев.

Дороге не сколотят гроба,  
Не завернут масштабно в ткань.  
Прощание пройдет в особо  
Секретном виде, глухомань?

Ни скромных гимнов, ни салюта,  
Ни с карабинами солдат.  
Все будет чинно, грозно, круто  
Под водку и негромкий мат...

Иль все ж приедут землекопы,  
Чтоб забросать дорогу тьмой?  
Поверх путей проходят тропы  
В теплынь и снежную зимой.

Всех закопают и всё выровняют. Но свято место пусто не бывает. На образовавшихся пустошах, где были захоронены П. и З. (Публицистичность и Злободневность) да Сиюминутность по рекомендациям демилитаризованного Кутузова Николаю предлагалось возводить сады, летние и зимние, земные и небесные. Не потому ли снова симпатично закачалась на оптимистической волне популярности и заняла занебесные строки во всероссийском рейтинге космонавтская песня со словами «И на Марсе будут яблони цвести». А по сути на Марксе, Карле. Свалили в общую яму и зарыли его бюсты и публицистический Материализм, завалили землей и на этом же самом месте посадили яблони Идеализма и начали возводить церкви и храмы. То есть презренная документальщина в рассказах Тропникова заменялась на тех же площадках лирическими

и природными описаниями, в которых Николай поднаторел и преуспел. Появились и мощные православные мотивы. Вот здесь-то Коняев с Тропниковым оказались солидарны, по этой-то линии они не столкнулись искристо лбами, а чокнулись «игристыми» стаканами.

Но блиц-крига или блиц-бздика не получилось. Советский, а потом перестроечный фон, общий политико-хозяйственный план на котором писались произведения Николая Тропникова и многих прозаиков являлся настолько казенно-статистическим, что никакие лирические описания не смогли перекрыть своей даже незаурядной художественностью публицистическую сущность неустроенной российской жизни. Даже теперь — к всеобщему мировому удивлению — капитализм при всех стараниях своих идеологических менеджеров и имиджмейкеров, даже при помощи западных стран и США не может вытравить, выжечь из гигантской России советское и тождественное ему русское содержание, наполнение.

Как ни старается Николай Тропников, как не стараюсь я — поэт и прозаик Меньшиков — выдать лиричность, а все равно в рассказах чувствуется партком, клуб, бухгалтерия, будто кто-то на общем плане считает кубометры деловой древесины, показывает в сухих — они аж трещат — цифрах результаты лесоповала или молевого сплава. Потому-то по вилегодским деревням и поселкам лесовозы с треском и гулом проезжают, а рассказы потрясают... но только иногда.

С ней, с этой пресловутой сухостью, Николаю Ивановичу, как и мне, в силу возраста бороться поздно, и живительной водицы в прозу надо было плеснуть или ленуть пораньше. А тогда, работая над материалом, автор, видимо, переусердствовал и, выдавливая из текстов ту же самую публицистичность, выжал из рассказов излишнее количество художественного «сока». Чуть-чуть пережал, перестарался, но это видно, видно. Уж слишком, хотя далеко и не везде, все отточено, мастерски выверено, выказано. Это как выходя за канву провинциального описания, угодить в комфортную канаву мегаполиса ...

Я считаю, что не очень удачной затеей в конечном счете явилось продвижение Николая по тропке, а позже по дороге, похожей на гигантскую киноленту, в мир документального кино. Помните, у Ю. Д. Лебединского — «Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино». А Николай Иванович принимал непосредственное участие в создании таких фильмов, как «День поминовения», «Тотьма», «Воспоминания о Соли Вычегодской» и др.

Не растягивая широко ни критическую резину, ни кинематографическую пленку, все же заявлю, что рассказы и повести Н. Тропникова в своем построении чем-то напоминают документальное кино, хотя и самого высокого качества. При чтении тропниковских произведений я не то чтобы слышал стрекот камеры или кинопроектора, но создавалось впечатление, что передо мной движутся кадры не «великого немого», а «великого документального». Я увидел интересных людей, передо мной проплыли лирические и трагические картины сельской и городской жизни, эмоционально и художественно насыщенные панорамы и картины ближнего плана, равнинно-таежные и индустриальные пейзажи, я услышал профессионально поставленный голос за кадром, читающий прекрасно написанный текст. Всё умело и тщательно заснято, озвучено и, главное, пущено в широкий прокат, который, к сожалению, в действительности оказался узким. Снят — или описан — один эпизод, второй, третий, без затянутостей, без соплей, без проходных мизансцен (в повестях без необязательных страниц), в присутствии тут же дающих дружеские советы и предлагающих варианты исправлений коллег-судей, как бы сторонних, но многоопытных глаз и авторитетных глоток.

Это мое субъективное мнение, я его никому не навязываю, да я бы про принципы съемок вообще молчал, если бы сам не занимался любительским кино. Можно сказать, я и на произведения Николая посмотрел и даже прочел их через глазок кинокамеры, отсюда и мои не очень убедительные и спорные рассуждения. Меня никто не тянет за киноязык, но я соглашусь с мнением большинства, что он при некоторых очевидных преимуществах более сухой и менее звучный, чем у хорошей прозы.

Я уже совсем распоясался, уже кино минусую, а киноленту начинаю считать за шелуху. Но мне кажется, что как раз из-за этой подвижнической работы в документальном кино, а так же из-за названных ранее поселковщины и газетщины Николаю не удалось достичь нужного соотношения между некоторыми свойствами и компонентами прозы. Теперь думается, добавь Николай в одни рассказы больше тепла, в а в другие холода и злости, то произведения стали бы сильнее. Вот из-за того, что малость не додал или передал, не довелось добиться сверхкачества и сверхуспеха. Читаешь и чувствуешь, что все элементы и составляющие серьезной тропниковской, а не «тропиканской легковесной», прозы — описания, диалоги, портреты, выходы на презрительную действительность, даже на так часто встречающиеся сарказм и сатира, — всё высокого уровня, но в результате высший уровень почему-то не складывается. Ну, не гений, не Достоевский и даже не Достоевич. Хорош у Тропникова троп, но иногда нужен просто трёп.

Еще о кино. Никакое оно не презренное. Даже по произведениям Достоевского снимали анимацию, мультики. И у Николая не все уж так безнадежно серьезно в прозе, имеются и простодушные картинки, готовые хоть сейчас угодить в мультипликационные рисованные кадры. В детском видении, интерпретации снежинки — это редкие снежины, похожие на большие рукавицы. В другом месте снежинки своими размерами напоминают падающих с неба пушистых цыплят... А почему не падающих или падших ангелов? Или автор еще не упал так низко? И все же почему не поговорить о снежинках как о некогда взлетевших, а потом медленно, как снег, упавших душах? И в конце концов, после упоминания о рукавицах и о цыплятах, увеличивая от раза к разу размеры и вес предметов, почему бы не сравнить снежинки с падающими со святого неба пышнотелыми грешными женщинами. Да это же божий подарок морозной северной зимой, когда слетают прямо на руки да еще голые и жаркие... Так что — больше всяких вариаций, соли и сахара, пудры и дегтя, перчика и сердчика...

Я думаю, что для Тропникова никакого не открытие, что у его прозаического искусства имеется связь с киноискусством. Вот как он об этом пишет: «И раньше возникало ощущение, что жизнь моя мне будто снится». То есть во снах, а потом в рассказах, жизнь прокручивалась как видение, как фильм...

Ладно, вырубим проектор, оборвем показ, прекратим навязывать кинематографический взгляд на творчество Николая Ивановича кому-либо и кого-то обвязывать, как обязательствами, растянувшейся или раскрутившейся на всю катушку кинолентинкой...

И вообще, что я тут бьюсь, как рыба, колочусь, погибаюсь, — а может, автора, выходца из глубинки, этот уровень профессионализма и популярности вполне устраивает? Критика ведь идет очень хорошая, доброжелательная, позитивная. Может, эта форма подачи материала, малость газетная или киношная идеальна для данного прозаика и, не используя именно ее, он вообще не состоялся бы как писатель. Все ведь о двух концах, и палка, которую бросил псу, и сам пес — тоже о двух концах. Это хорошо, если обойдется, и не на один не насадят.

Но все равно мне так и не удалось полно ответить на главный вопрос литературного дня, почему прозаик Тропников, достигнув такого высокого писательского уровня не попал в ряды классиков?

Да, не раскручен, но раскрутка — это вторично.



Возможно, потому, что в прозе Николая недостаточно... прозы.

Да все у него как-то с креном, много жизни, но маловато искусства... много правды, но мало лжи. Присутствует газета, кино, масса лирических описаний, поэзия, а вот некоторых сермяжных, основополагающих качеств прозы не хватает. Практически нет героев, повествование идет линейно, от собственного имени. Порой рассказы своей повествовательностью напоминают очерки, а однажды и сам автор в повести «Кот» промяукал о своих рассказах как о мемуарах. Вообще-то читателя не волнуют никакие новации по сближению прозы с поэзией, лирики с описательностью, и ему подавай что-либо читабельное, увлекательное. А потребности читателя надо учитывать. Он ведь простой, ему, как голому в бане, надо сделать погорячей, похолодней. А если вне бани, добавить веселия или жути, скорби. Разве не интересны своей мистичностью, жутковатостью рассказы «Ночные деревья», «Дым»? А в рассказе «У костра» герой вообще берет и несет на руках не угли, а «остатки костра», прямо так и названные.

Надо побольше таких жгучих деталей, да и вообще зажигательных повестей, надо игрануть, вносить интригу, добавлять в повествования безудержного смеха или трагичности, а то их и вместе замутить. К примеру, рассказать о том, как Жириновскому — жирному комику — удалось сбежать от толпы возбужденных гомиков только после того, как он напялил на себя бабье платье. А давнишнюю сценку посещения вместе с матерью (меня в детстве так же заставляли ходить) стайки с кормлением поросенка расписать в современной транскрипции: входите, включаете керосиновый фонарь, и у ближней стенки, в двух метрах от поросенка, видите группу забившихся в свинарник гастербайтеров-азиатов.

Больше смелости, фантазии и даже фантастики. Смотрите, например, что я спроектировал для Виледи в канун 100-летия Октябрьской революции, написав стих «Северная Аврора»:

Через одну из стихоглав  
Осуществлю показ картины:  
Речушка Виледь, вешний сплав  
В Архангельск леса-древесины.

Из крупных бревен-кругляков,  
Приплывших в город (без билетов),  
На протяжении веков  
Настроено судов, корветов...

С плевком  
в буржуйский выкрик «Грабь!»  
Решили люди для отпора  
Содеять собственный корабль  
С названьем трепетным «Аврора».

Повеял красный ветерок,  
Залаял рыжеватый песик.  
Река похожа на шнурок,  
Что здесь развязан, как матросик?

Когда же свяжут вновь шнурки,  
Тогда ни шагу в мир свободный.  
Постановили: близ реки  
Построить крейсерок народный,  
Военный, как 20-й век,  
Когда с винтовкою  
бунтарства  
Пошел на Зимний человек  
С мечтой о честном государстве.

Увы, не выстроить корабль:  
Река узка, лесхоз в упадке...  
Подиржируй, коль не раб,  
Колом с призывом к новой схватке.

Не собираюсь тут устраивать мастер-класс, это не я, а Николай- ас, но надо хотя бы до конца, до логического упора раскручивать собою же найденные образы, чтобы они превращались в глобальные развернутые метафоры. Имеется же у него неординарное городское описание: ««Под «мавзолеем» я подразумевал торговый центр. Он стоял на противоположной стороне улицы, и во время гонений на спиртные напитки я не раз видел в окна обвивавшие его великие очереди. К тому же, если напрячь воображение, то и без очередей в силуэте этой торговой точки с красно-зелеными буквами ТЦ можно действительно усмотреть очертания известного московского сооружения, особенно при ночном освещении...». Отлично, но состоялся бы прозаический шедевр, если бы Николай описал, как из этого мавзолея при огромном стечении петербуржцев и под духовую

музыку выносят тело Ленина, или после его непродолжительного пребывания на Волковом кладбище снова заносят в универсам и ставят гроб под стекло, под витрину.

«Оксюморон используй, Мирон!» — вот один из моих запоздалых простецких советов сочинителю.

Прошу у Николая прощение за такие подсказочки, но что ему на меня обижаться? Во-первых, я пишу и для других, пусть на классических примерах Тропникова учатся, а, во-вторых, у Николая хорошая критика, так что ничего не угрожает его давно сложившемуся успешному имиджу. Возможно, через пятьдесят лет эта критика станет еще «лучшее», ведь спадет шелуха, и после шелушения свершится залучшение.

Соглашаюсь с мнением некоторых московских и петербургских критиков, заявивших, что проза Тропникова — родниковая. Чистая, свежая. Не захватанная. Но мне хочется, чтобы она стала еще и захватывающей, увлекательной. Хм, самый увлекательный сюжет сегодняшнего времени — это дождаться от нынешней прозы увлекательности и сюжетности. Повторяю, в теперешней прозе не хватает прозы. Из купели выплеснули ребенка, фабулу. Содержательность потеряла мобильность. Сбилось что-то в литературе, сбилось. Уйдя от одной сюжетности, прозаик не перешел в другую. Вроде бы спасительная надежда на длинные лирические отступления, которые зачастую являются мудреными и многозначительно слабыми, на деле оправдывает себя плохо, метод срабатывает не вполне. Те же природные описания, например, «покрасневшее вечернее небо» Тропников пробовал использовать как полосу раскаленного железа, чтобы в своих рассказах и даже в заготовках к ним выжигать документальщину, сухость или водянистость текстов, но полностью выжечь не смог. Нужно было использовать и другие варианты уничтожения, например вытравливание или выскабливание.

У меня самого в стихах и прозе такие же проблемы, даже намного запущеннее, чем у Николая. И если он, благодаря своему тонкому вкусу и чувству меры, смог еще на дальних подступах выставить преграды для излишней публицистичности, но не сдержал их напор, то у меня вообще завал.

Если коряво, но правильно выразиться, Николай Тропников слишком поэт, слишком лирик для прозы. Но его поэтических изобразительных средств не хватило, и он сам, наверное, в конце концов понял, что при недостаточной сюжетности, минимализме ходов и примитивизации схемы, стирании или неимении тропок-дорожек не сможешь выйти и на выдающийся уровень художественности.

Я, конечно, сужу прозу Николая Тропникова без побряжек, по довольно высокому счету, но по этому же счету и ценю, и ни сколько бы не удивился, а только поддержал бы, если бы его книгу выдвинули на соискание Государственной премии по литературе.

Всяким там русофобам вручают, а нашего брата обходят.

И напоследок, если уж начал статью разговором о землячестве с воспоминаний о Вилегодчине, о «малой родине», то особо отмечу, что Николай является бережным и ответственным, и не поэтому ли малоразговорчивым, настороженным хранителем вилегодского языка, скажем так, диалекта. Опять-таки с незаурядным чувством меры, с тактом, не впопыхах, не серией, а по одному, точно запускает в текст такие слова, которые я помню со времен своего босоногого детства, например, «исть», «ужо», «переоболакивайся», «стайка», «басалай», «машинная дорога». И вот по этой машинной дороге мы уехали с Виледи, кто пораньше, кто попозднее (меня увезли родители в Волхов) и, не знаю как я, а Николай Тропников уж точно вернулся в родные места с весомыми, высоко оцененными книгами. И такому факту можно только сообща порадоваться.

Автор: Владимир Меньшиков